



Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

К соблазну малых сих

В «Московском еженедельнике» напечатано открытое письмо Бердяева, ответ на такое же письмо архиеп. Антония по поводу «Вех».

Бердяев начинает заявлением о том, что «*ныне* почитает Церковь своею духовною матерью». Заявлять об этом ему нужно потому, что его недавнее присоединение к церкви могло остаться неизвестным и совершилось «путями извилистыми», как сознается сам пишущий; некоторые же из этих извилин коснулись так называемого «нового религиозного сознания» — опаснейшей ереси в глазах архиеп. Антония, а, пожалуй, *ныне* и самого Бердяева. Настоящим заявлением отрекается он от этой ереси, так как в противном случае действительная принадлежность его к церкви осталась бы под сомнением, а следовательно, и все письмо утратило бы свою главную убедительную силу как обращение духовного сына к отцу, пасомого к пастырю.

Не пустая же учтивость эти заключительные слова: «Поручаю себя вашим молитвам и испрашиваю себе вашего благословения, Владыка». Не обманывает же он себя и других — верит в святость молитв и подлинность благословения того, кого называет «виднейшим из епископов русской Церкви».

Слова эти смиренны. Не менее смиренны другие — по всей вероятности, услышанные пастырем от пасомой овцы не без удивления. «Ваше высокопреосвященство... я познал тайну соблазнов... Я получил право... обличать ложь... Покаяться должны все».

Тут же, хотя и по другому поводу, говорится об «избранниках, которые написаны у Агнца в книге жизни».

Невольно приходят на память эти избранники, когда заявляет Бердяев уже не только от себя, но и от своих единомышленников по «Вехам»: «Мы победили соблазны; но мы не воз-

гордились этим и всегда помним, что многим братьям нашим победить это слишком трудно, что для *малых сих* соблазны страшны».

Итак, Бердяев ходатайствует за малых сих, не записанных у Агнца в книге жизни, делаясь посредником между ними и церковью, не только русской, но и вселенской, ибо не о меньшем хлопочет он: «Где голос Вселенской Церкви, которой я во всем подчиняюсь и во имя которой от всего откажусь?»

Еще большее удивление должны возбудить в архиеп. Антонии дальнейшие вопросы Бердяева — те соблазны, которые мешают малым сим войти в православную церковь.

Почему «мерзость запустения» стала на месте святом? Почему церковь «привыкла полагаться во всем на внешнюю принудительную силу, внутренняя же сила духовных даров почти иссякла в ней?» Почему совершается ею «превращение веры в орудие мирской политики?» Оправдывается «братоубийственная политика с. р. н.¹»? «Благословляются смертные казни»?

Почему в церкви — «вместо дел любви, дела ненависти»; «вместо мучеников, мучители»; «вместо правды распятой, сила распинающая»? Почему, наконец, метафизическое отношение церкви к миру «антихристианское, безбожное, демоническое»?

Ответит ли архиеп. Антоний на все эти вопросы и что именно — не берусь угадывать; во всяком случае, ответить ему и легко, и трудно.

Легко ответить: если такова церковь, как утверждает вопрошающий, то как мог он войти в нее? Для мерзости запустения, стоящей на месте святом, существует ли предел, за которым и самое место перестает быть святым? Если существует, то не ясно ли, по вопросам Бердяева, что предел этот для него уже исполнен? А утверждать, что такого предела вовсе нет, — не кощунство ли? Да и о чем тогда спрашивать, чем соблазняться? Во всяком случае, следовало бы спрашивать прежде, чем входить в церковь, — или, уже войдя, не спрашивать. А, сняв голову, по волосам не плачут. Нельзя же, в самом деле, поручать себя молитвам тех, кого считаешь мучителями, распинателями правды Христовой, кого подозреваешь в безбожном, демоническом отношении к миру. Обличаемые могли бы ответить обличителю: если ты с нами, то зачем говоришь неправду о нас; а если правда то, что ты говоришь, то зачем ты с нами?

Это легкий ответ *ad hominem*²; а вот столь же легкий по существу. Еще со времен Святейшей инквизиции, на тот же вопрос — тот же ответ.

Никогда никого не преследует, не насилует, не мучает, не казнит церковь; она прощает и любит врагов своих, по завету Христа; и, любя, предает их мечу светскому, правосудию государственному, не вмешиваясь в него, не препятствуя ему; и ежели казнит оно преступников по своим законам, то это уже дело его, государства. Церковь же, оставаясь матерью, любящею до конца, не покидает осужденного, когда все покинули его, — утешает, наставляет, напутствует св. дарами на костер, на плаху, на виселицу, молится о спасении души его.

Итак, сколько бы крови человеческой ни было пролито — ни одна капля не может упасть на церковь и запятнать непорочно-белые ризы Невесты Христовой.

Лицемерие? Кощунство? — Нет, кто другой, а Бердяев этого не скажет. Ведь сам он признает не только возможным, но и необходимым такое именно отделение эмпирического порядка от мистического, «мирских дел» государственных от церковных дел «не от мира сего». Пусть, говорит он, государство в мирских делах прибегает к необходимым мерам принуждения; греховный, отпавший от Бога мир не может существовать без принудительной государственности — т. е. без власти насильственной, меча казнящего. «Христианин, — продолжает Бердяев, — должен сознавать, что начальник не напрасно меч носит». А где меч, там и казнь, там «сила распинающая». «Но Церковь Христова, — заключает он, — держится на вере в правду распятую, а не в силу распинающую». Это и значит: не может быть никакого религиозного соприкосновения между властью государственною и свободою церковною, между порядком от мира и не от мира сего; а следовательно, не может быть и никакого вопроса о том, почему церковь не вмешивается в государственное насилие, не препятствует ему, попускает его. И если бы даже сделалась она «орудием мирской политики», то это — эмпирическая вина государства, а не мистическая вина церкви. Пастыри церкви участвуют в этой вине не как пастыри, облеченные властью духовною, а как «начальники, не напрасно меч носящие», люди светские, государственные. Сама же церковь остается опять-таки невинною.

По мнению Бердяева, так должно быть. *Но ведь так оно и есть.* От добра добра не ищут. Чего же ему еще надо?

Уничтожить ссылки на Достоевского и Серафима Саровского архиеп. Антонию тоже ничего не стоит.

Не противопоставлял ли Достоевский именно здесь, в вопросе о государственном насилии, церковь православную, как воплощение свободы Христовой, духу Великого инквизитора, кото-

рый господствует будто бы в католическом Риме? В христианстве западном, по учению Достоевского, церковь претворяется в государство; тогда как в христианстве восточном, наоборот, государство претворяется в церковь, «возносится до церкви» л. Всемирно-историческое призвание русского народа-богоносца и видел Достоевский в этой новой теократии, в абсолютном, взаимопоглощающем соединении православия и самодержавия, порядка имперического и мистического. Эти два порядка Бердяев разделяет; Достоевский соединяет. Для него оправдание и утверждение существующего — необходимая предпосылка будущего: вне русской исторической церкви и русской исторической власти нет спасения. В этом смысле Достоевский — могущественный теоретик современной реакции. И в этом же смысле архиеп. Антоний, ученик Достоевского, никого не мог бы противопоставить Бердяеву с такою силою, как своего учителя.

Что же касается до Серафима Саровского, то автор письма как будто или вовсе не читал, или окончательно забыл житие этого святого. Русская церковь и русская власть для Серафима так неотделимо слиты, что ему показался бы бессмысленным и даже кощунственным вопрос о том, не сделалась ли церковь орудием мирской политики. Православие есть душа самодержавия, а самодержавие — тело православия. Недаром предсказывал Серафим, что, когда русский царь посетит Саровскую обитель, большой колокол московского Успенского собора сам зазвонит, возвещая миру «новую Пасху», торжество православия и самодержавия как единого целого⁴.

Но если уж Бердяев забыл Серафима, то пусть вспомнит о. Иоанна Кронштадтского, для того чтобы убедиться в том, что христианская святость совместима с реакцией, с участием в «Союзе русского народа», с превращением Церкви в «орудие мирской политики», с благословением смертных казней.

Да и что Серафим, что Иоанн — не вся ли тысячелетняя история христианской святости утверждает не в каком-либо ином, а именно в этом смысле происхождение *всякой* власти от Бога? Так было — так будет. А либеральные доводы против этого мирового течения все равно что бумажный кораблик против尼亚гары.

Да, архиеп. Антонию очень легко и вместе с тем, повторяю, очень трудно ответить на вопросы Бердяева. Трудно потому, что сами вопросы путаются в противоречиях и, только что поставленные, падают.

Противоречие в самом положении Бердяева относительно церкви мы уже видели: он считает ее своею матерью, а говорит

о ней так, как нельзя говорить сыну о матери. Спрашивает, где голос церкви; но ведь если он пришел к ней, то, значит, услышал голос ее; а если не услышал, то, значит, не пришел.

Архиеп. Антонию трудно будет решить, кому он отвечает, сыну или чужому, верному или оглашенному. Мало ли что эти оглашенные говорят о церкви: на всякое чиханье не наздравствуешься.

Это противоречие, жизненное, биографическое, вытекает из глубочайшего противоречия религиозного.

Все вопросы, все соблазны Бердяева относятся, как он сам утверждает, к «духовному упадку и разложению церкви в ее *человеческой, эмпирической, исторической стороне*»; но «в *божественной стороне* церковь незыблема и хранит вечную истину».

В существе церкви отделяет он человеческое от божеского; считает возможным не верить в человеческое, продолжая верить в божеское. И тут же спрашивает: «Нет ли такой степени неверия в человека и человечество, которая уже несовместима с верой в Богочеловека, в Соединившего Бога и человечество?» И, отвечая на этот вопрос утвердительно, указывает на К. Леонтьева, у которого неверие в человечество, безбожное отношение к миру приняло характер антихристианский, демонический.

Так одно и то же оказывается то божеским, то демоническим. Основной догмат христианства, Богочеловечество, как совершенное соединение Бога с человечеством, то утверждает, то отрицается.

Противоречие в религиозной посылке рождает противоречие и в общественных выводах.

Церкви противопоставляется государство как область мирских дел — области не от мира сего. «Пусть государство в мирских делах прибегает к необходимым мерам принуждения», к «силе распинающей»; — но «Церковь держится на вере в правду распятую, а не в силу распинающую».

Где кончается бытие государственное, сила распинающая, там начинается бытие церковное, правда распятая. Между ними нет и не может быть никакого положительно религиозного соприкосновения; а следовательно, не может быть и никакой «церковной политики», «христианской государственности». Всякое отношение церкви к политике есть «мерзость запустения на месте святом». От всякой политики отрещивается Бердяев как от наваждения бесовского. «Ради Христа, — умоляет он архиеп. Антония, — верьте мне, что в словах моих

нет ни капли политики; в словах моих сказалась жажда освобождения веры от политики».

И тут же говорит о христианском государстве: «Наша христианская совесть принуждает нас религиозно бороться со смертными казнями в *христианском государстве*».

А где государство — там и политика, где христианская политика, положительное или отрицательное, но, во всяком случае, деятельное отношение церкви к мирским делам. Как же *«религиозно бороться со смертными казнями в христианском государстве»*, будучи религиозно же, христиански же вне всякого бытия государственного?

Все письмо Бердяева — сплошная сеть таких противоречий. Он бьется в них и увязает, как птица, попавшая в сеть.

И уж, конечно, соблазна малых сих не облегчает. Мы должны верить, что он вошел в церковь; но кто он, что он, где он, с кем и против кого, а главное, вошел ли он действительно или только хочет, но не может войти, да и церковь ли то, во что он вошел, — мы не знаем.

Можно «приобщиться к земле, не приобщаясь у Бога», приводит он слова Серафима Саровского. Это значит: можно, считая себя вошедшим, не войти в церковь.

Но и войти в нее не значит еще победить *все* соблазны. По испанской поговорке: *За крестом — дьявол*. Если дьявол, который перед крестом и мешает подойти к нему, силен, то еще сильнее тот, который за ним и соблазняет подошедших. Не являлся ли дьявол величайшим подвижником в образе «ангела светлого» и даже самого Христа?

В первые века христианства существовало предание о том, что лик антихриста будет до такой степени подобен лику Христову, что едва не соблазнятся избранные. В настоящее время соблазнительнее, чем когда-либо, смешение двух ликов.

Победил ли Бердяев этот соблазн?

(Речь. 1909. № 244. 6 (19) сентября;
впоследствии вошла в XII т. Полного
собрания сочинений Д. С. Мережковского.
М., 1911. С. 83—89)

